

Линор Горалик

Все,
способные
дышать 
дыхание

Москва,
Издательство АСТ

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
Г67

Горалик, Линор

Г67 Все, способные дышать дыхание / Линор Горалик. — Москва: Издательство АСТ, 2019. — 448 с.

ISBN 978-5-17-112269-0

Когда в стране произошла трагедия, «асон», когда разрушены города и не хватает маленьких желтых таблеток, помогающих от изнурительной «радужной болезни» с ее постоянной головной болью, когда страна впервые проиграла войну на своей территории, когда никто не может оказать ей помощь, как ни старается, когда, наконец, в любой момент может приползти из пустыни «буша-вахирпа» — «стыд-и-позор», слоистая буря, обдирающая кожу и вызывающая у человека стыд за собственное существование на земле, — кому может быть дело до собак и попугаев, кошек и фалабелл, верблюдов и бершевских гребнепалых ящериц? Никому — если бы кошка не подходила к тебе, не смотрела бы тебе в глаза радужными глазами и не говорила: «Голова, болит голова». Это асон, пятый его признак — животные Израиля заговорили. Они не стали, как в сказках, умными, рациональными, просвещенными (или стали?) — они просто могут сказать: «Голова, болит голова» или «Я тебя не люблю», — и это меняет все. Автор романа «Все, способные дышать дыхание», писатель Линор Горалик, говорит, что главным героем ее книги следует считать эмпатию. Если это правда, то асон готовит эмпатии испытания, которые могут оказаться ей не по силам.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-112269-0

© Линор Горалик, текст
© ООО «Издательство АСТ», 2018

1. Раёк

Покачиваясь, я боком двигался сквозь влажную, липкую жару между двумя рядами неприветливых пустых сидений; я шел к туалету в самом конце узкого помещения, и с каждым шагом все пристальнее разглядывал собственные пальцы. Муха пролетела у меня над ладонью, не отклоняясь от своей траектории, словно я и сам был просто сгустком липкого влажного воздуха. Это так испугало меня, что я остановился и почти всерьез попытался заставить свой левый безымянный палец удлиниться на пару сантиметров. Я напрягся весь, согнулся и почувствовал, как складки живота норовят и в самом деле слипнуться по причинам, не имеющим никакого отношения к жаре. Внезапно меня охватила брезгливость к собственному телу — но не та испуганная, внезапная брезгливость, которая приходит в ночном кошмаре (голый, ты идешь по раскачивающемуся вагону; справа и слева нет никого, но в любую секунду лавки могут заполниться бездельными людьми, для которых не существует лучшего занятия, чем молча смотреть на твой позор, — вправо, влево, вправо, влево). Палец мой, конечно, сохранил свою явственно неполноценную длину, как я ни напрягал пресс. С год назад я сказал Еремею: «Иногда во сне мне ясно, что я сплю».

Он посоветовал сосредотачиваться в такие моменты на каком-нибудь простом изъяне моей руки — кривом ногте, родинке с дурным волосом, твердом, как заноза, заусенце — и пытаться выправить этот изъян. «Начнет удаваться это, — говорил мне Еремей, скрипя соседней раскладушкой и почесывая ранний старческий пух на голове, — начнешь быстро делать там другое, метлу в бабу или сиськи вырастить себе, помазать просто так». Он знал про контролируемые сны от отца, модного телевизионного эзотерика, милого и по-юношески волосатого человека: единственный раз, когда я видел их вместе, в родительский день на курсе молодого бойца, Ермиягу-старший, как мне показалось, старался не задеть случайно головы сына — обнимал его и охлопывал от талии к плечам, а потом обратно, после чего опять начинал двигаться ладонями вниз, удаляясь от опасной зоны. Что до снов, то мне не хотелось мацать ничего прямо на себе, а до метаморфоз метлы дело не доходило: один раз плохо прорисованный куст на периферии зрения показался мне подходящим объектом для трансформации, я напрягся и привел его в состояние какого-то кубического месива с торчащим к небу огромным соском, после чего проснулся в страхе и омерзении. Обычно я понимал, что сплю и вижу сон, когда чрезвычайно быстро летел над тротуаром. Тогда я старался замереть на месте (иногда для этого приходилось безболезненно врезаться во что-нибудь, не заслуживающее осознания) и вытягивал короткий и кривой средний палец до нормальной длины — и еще дальше: вялое телескопическое щупальце. Сейчас я не летел, а шел бочком, и кривой палец не поддавался никакому усилию («Усрешься еще», — презрительно сказал мне голос, явно несовместимый с пространством сна), и я чувствовал себя идиотом, вообразившим, что этот шаткий голый путь по узкому пустому лекторию мог быть паровозным кошмаром. Я пошел быст-

рее, больно шоркнул ногой о боковину одной из деревянных скамеек, пришел наконец в туалет — и, сидя на унитазе, слизнул с колена мелкий кровяной пунктир, как делал в детстве, и почмякал им, чтобы лишний раз изумиться, насколько это похоже на вкус ключа от папиного секретера. Как и во всем зоопарке, тут почему-то не работал кран — но исправно функционировал сливной бачок. Я намотал на руку побольше туалетной бумаги, дернул ручку, намочил бумагу в бурлящей струе, стараясь не касаться потрескавшегося фаянса, и старательно вытер себе живот. Не зная, какая бумага нужна Адам, сухая или мокрая (мне казалось — сухая), я пропитал еще один отмот до чавкающего состояния, а остальной рулон прихватил с собой. Когда я боком приполз обратно, в начало экспозиции, Адам успела одеться; стоя перед ней с текущей бумагой в одной руке и с сухим рулоном в другой, я вдруг остро застеснялся собственной наготы. С тактом, который мне уже довелось оценить, она взяла у меня мокрую бумагу и протерла лицо, а потом аккуратно положила использованную протирку на толстое стекло ближайшего террариума. Гигантский жук с оленьими рогами, разбуженный внезапной темнотой, молча уставился на нас, сделал несколько слабых шагов и снова лег. «Голодный», — сказала Адам с интонацией, которую я не мог разобрать. Я воспользовался поводом поднять с пола рубашку — в кармане у меня лежала половина батончика из сухпайка; серебристая обертка без единого печатного слова заскользила по растопленному шоколаду, как кожа по куску вареной курицы. «Бессмысленно, — сказала Адам. — Нет ключа». Жук снова приподнялся, медленно, с дрожью взобрался на кусок коряги и уперся острым рогом в замок под самой крышкой, и от этой жалкой пародии на попытку к бегству меня передернуло. «До этих точно никому дела нет», — сказала Адам, закручивая на голове неакку-

ратный сноп и прихватывая его широкой заколкой. Я сказал, что, может быть, за самыми ценными насекомыми кто-то приглядывает. «Павлины во сне за ними приглядывают, — сказала Адамас. — Спят и видят. Выпустили бы сразу на съедение, чего мучить». «Может быть, их забыли», — сказал я. Адамас посмотрела на меня и прошла мимо нескольких террариумов (я не знал другого слова для этих стеклянных ящичков и никогда не узнал). Она легонько стучала в каждый обручальным кольцом, и я понял, что это — еще одно проявление той прохладной вежливости, благодаря которой мы сейчас оказались здесь: я подал реплику, она демонстрирует интерес; и я снова почувствовал неприязнь к этой вежливой женщине и устыдился этой неприязни. Я и сам был сейчас прилежно вежлив, мы оба чувствовали себя людьми, достойно выполнившими важную светскую обязанность. Скажем, приближается вокзал, за окошком плывет край перрона, руки заползают в рукава плаща, и взаимная благодарность за то, что поездка прошла без особых неловкостей, на миг представляется порывом к дружбе. Лживое чувство; но вот вам моя карточка, а мне ваша, не будем же звонить друг другу. Я предложил ей обойти патрулем северную часть зоопарка; экспонатов оставалось мало, нас было и того меньше, она согласилась с излишним энтузиазмом, мы оба хотели прополоскать напоследок рот незначительной болтовней.

Ее муж участвовал в одной из тех тридцати с лишним позорно окончившихся стычек, которые впоследствии будут, видимо, называться «Битвой за Ашкелон», «Ашкелонской трагедией», Ашкелонским... котлом? Кастрюлей? Крышкой? Сейчас этот человек, однажды виденный мною сквозь стекло проглотившей Адамас машины, находился, судя по всему, в «Сороке», состояние его считалось «средней тяжести, но стабильным». Более внятного ответа Адамас

не удавалось добиться; была какая-то операция; «Какая? В каком месте? Где на теле?» «Приезжайте». Ходили истории о том, как среди безумия этих дней больных путали друг с другом, перегруженная система задыхалась, и родственники то получали сообщения, что погиб еще живой, то узнавали об ампутации руки, когда человек лишился глаза, а один из наших ребят выяснил, как-то дозвонившись матери, что его брата приняли за ординарца, потому что он забрел в служебное помещение и прилег там на диван; ему не оказывали помощь, пока он не потерял сознание и не скатился с дивана на пол; впрочем, все, насколько я понял, закончилось неплохо.

Адас не распространялась о состоянии мужа, но пода-ла заявление на короткую увольнительную — после того как наш гдуд¹ все-таки заберут отсюда. Увольнительную подписали: в любом случае было неясно, что с нами делать дальше. Вчера говорили, что вертолет прилетит сегодня в четыре; потом Адас сообщила нам, что вертолет будет завтра к ночи, и объявила сегодняшней день выходным, назначив сменяющиеся патрули. Сейчас у меня было устойчивое впечатление, что обстоятельства изменились, вертолет откладывается, но я не чувствовал за собой права задавать Адас внестроевые вопросы. Почему-то я решил для себя, что речь теперь идет о пятнице. Сегодня был понедельник, солнце лапало узловатые колени иудина дерева, павлин вдруг выскочил из-за араукарии и посмотрел на Адас строгим куриным взглядом, и под этим взглядом она поправила ремень автомата, туго лежащий между грудей. Рай был над нами, под нами и вокруг нас; и было утро, и — с Божьей помощью — предстоял вечер, день шестой. Я молча последовал за павлином, мне хотелось понять, где у него гнездо, — павлины еще до всех этих дел

¹ Отряд (военн., ивр.).

ходили по зоопарку вольно, как кошки ходят по городу, но я был уверен, что у всякой птицы где-нибудь да есть гнездо, и отправился следом за павлином, как хотел сделать еще со второго класса, со времен очень жаркой и слишком медленной школьной экскурсии. Я прошел сквозь стену цветущих адмумов¹ и тут же, охнув, схватился за их ветви, как распятый: перед (под) ногами у меня была огромная сухая воронка, полная горелого лома. Павлин слился вниз по широкой томительной спирали, а я увидел, что по ту сторону воронки среди разводов горелого хаки лежит Нбози: пятно травы под ним было изумрудного цвета, а гипс у него на ноге покрылся грязно-зеленой коростой. Привалившись спиной к железной ограде, в которой взрыв проделал приветливо изогнутую калитку, Нбози медленно водил губами, словно размышлял, окликнуть меня или нет; я понимал, что он просто что-то жует, — он всегда что-то жевал. Я помахал ему, он лениво склонил голову. Я вновь прошел сквозь зеленую стену, теперь в обратном направлении. Адас, локтем удерживая автомат, что-то поправляла, засунув руку в штаны (я не без злорадства вспомнил о туалетной бумаге), но при виде меня немедленно упорядочилась. Вместе мы просочились из негорелого мира в горелый, и ее первый шаг, конечно, твердо лег на край воронки, и она, ни разу не взглянув себе под ноги, двинулась в обход, а я шел за ней, замечая, что шагает она широкогато; но все, чему положено было утрястись, в конце концов, видимо, утряслось, так что к Нбози Адас приблизилась разбитным офицерским шагом и слегка ткнула его в бедро ботинком.

— Хамштво, — сказал Нбози, чуть не выронив свое жевалово изо рта. На длинной нижней губе у него показалась зеленая капля, он подобрал ее языком, я отвернулся.

¹ Холмскиолдия кровавокрасная (*ивр.*).

— Отдал бы честь кцине¹, молодой человек, — сказал я, садясь на траву.

— Так она ш не моя кцина́, — сказал Нбози и поглядел на груди Адаc, торчащие по обе стороны от автоматного ремня. Она стояла, расставив ноги; темный круг у нее под мышкой стал заметнее, когда она подняла руку, чтобы прикрыть глаза от солнца. Нбози посмотрел на это пятно и сказал, не переставая жевать губами: — Да вы сношались.

Я уставился долу и увидел несколько муравьиных трупиков, маленьких и сухих. Их повсюду носило ветром — тельца муравьев, каких-то длинненьких жучков, еще кого-то, явно не имеющего особой ценности. Адаc на правах старшего по званию показала Нбози средний палец, и Нбози довольно хрюкнул.

— Как было? — поинтересовался он, уронив с губы зеленую каплю. Я понял, что рот его набит обыкновенной травой.

— Как в раю, — сказала Адаc, закатывая глаза и садясь в сожженную траву, — как в сраном раечке. Солнце, природа, сдохший кондиционер, М-16. Все, что я люблю.

— Пахнет от тебя этим самым, — сказал Нбози, потянув воздух, и она быстро сдвинула ноги, и я вдруг снова подумал о ней с неприязнью: воспользоваться при мне влажным моим приношением, серой туалетной бумагой было для нее слишком интимно, мне же, кроме уставной вежливости, ничего не полагалось.

— От тебя вот навозом пахнет, — сказал я Нбози, чтобы что-нибудь сказать.

— А тсем от меня дождно пахнуть — цветоцком? — ответил он с неожиданной равнодушной ленью, словно пикировка вдруг совершенно перестала его интересовать, но не из-за моего вопроса, а раньше, в какой-то не заме-

¹ Офицер-женщина (*ивр.*).

ченный мною, но важный для него момент. Слова у него получались медленные, с прилепетыванием, и я старался не думать о том, как они ворочаются в его слюнявом рту.

— Что колено? — спросил я. День вежливости, день любви и милости к ближнему определенно выдался у меня.

— Коле-е-но, — сказал он, глядя на Адас, на ее сдвинутые колени, которые она теперь неловко обнимала руками.

— Что колено? — повторил я.

Дальше я как-то внезапно откатился и оказался на ногах, руки мои вращались, как мельничные крылья, пока я пытался удержаться на краю воронки, а грохот цепи, которой Нбози был прикован к ограде, слился у меня в ушах с яростным матом Адас, и в короткий момент, когда эти звуки вдруг слились, мне послышалось слово «зангвиль», которого, естественно, никто не произносил.

Я качался в воздухе, как ветка, за спиной у меня была воронка, а перед самым лицом, в нескольких сантиметрах от лица — загипсованная левая передняя нога Нбози, и его раздвоенное копыто казалось мне изуродованным двупалым кулаком. Я видел, что Адас, вскинув автомат, орет на Нбози сухим высоким голосом, но не слышал ее слов, а слышал только его, он тоже орал, он орал: «Где она, скоты? — и орал: — Ублюдки, цто с моей зеной? — и: — Где Нтомби, козлы, твалли, где моя зена? Я хотсу видеть свою зену, я хоцу говоллить с ветелл-наллом, гады, где моя зена, поцему со мной не говоллит ветелл-налл, я хоцу, цтобы мне пллямо сказали, цто с моей зеной, вонютсие скоты!» Я махал руками, копыто дергалось у меня перед лицом, я заваливался назад и вдруг пред-

ставил себе, что падение мое убьет павлина, сидящего в гнезде на яйцах, и это было чрезвычайно, чрезвычайно смешно, и вдруг я перестал слышать какие бы то ни было звуки и почему-то стал подсчитывать, сколько павлинов я видел с момента прекращения огня. Одного, например, мы с Эраном видели обгорелым и мертвым, он был коричнево-голый, как недожаренная курица, а хвост был в полном порядке — вульгарный и нежный трен исчезнувшего в огне платья. Но если еще до всей этой истории павлинов отпускали гулять по зоопарку просто так, подумал я, у них вряд ли была какая-нибудь особенная ценность. Потом я снова очнулся и увидел, как Нбози прыгает на трех ногах, отступая перед Ада, и как Ада тычет в воздух автоматом. Пасть у Нбози была раскрыта, из нее текла зеленая нитка, длинный черный язык извивался в воздухе. Мне припомнился тот блаженный миг, когда экскурсовод и два учителя внезапно оставили нас в покое (кажется, с кем-то из девочек что-то приключилось в туалете — да? нет?) Мы послушно толклись у вольера Нбози, вдосталь уже на него насмотревшись, и я решил скормить ему свой недоеденный сабиах¹. Я хотел произвести впечатление на одноклассников, на мальчиков — даже не на девочек, вот как я был юн; но когда Нбози склонил свою бесконечную пятнистую шею — безо всякой, конечно, цепи, безо всякого ошейника на ней — и сделал несколько шагов ко мне, и поднес треугольную голову к самой решетке своего огромного райского вольера, (помню, что он по-барски встал копытом на кусок влажной желто-зеленой дыни, остатки которой другой жираф — жирафа? — дожевывал над их общей бездонной кормушкой), и когда я увидел, какая у него огромная

¹ Традиционная израильская еда иракского происхождения — пита или сэндвич с жареными баклажанами, яйцом, свежими овощами, соленьями, хумусом и тхиной.

пасть, и когда лилово-черный гибкий язык обвил подношение, оставив на моих пальцах слизкую слюну, мне сделалось так дурно, что я чуть не вывалил и первую половину саби́аха ему под ноги. Липкую руку я потом носил перед собой, как подбитую; возле павильона с рептилиями я вытер пальцы о лист инжира; рука стала не просто липкой, но липкой и грязной; я стыдливо понес ее дальше. Сейчас Нбози пяtilся и качался, и напоминал мне шаткую трехногую трость-табуреточку: старушки, жадно приобретающие чудный предмет в сувенирном магазине у входа, через час разочаровывались и в нем, и в неожиданно мелких здешних зебрах, и в самой идее возить внуков бог знает куда — обманчивый жаркий рай, пыль, пыльца. Адаc орала совершенно черными словами, орала, что Нтомби сдохла, что его сраная з-з-з-зена сдохла, что ветеринаров убило осколками стекла — из-за вас, скотов, выроdkов, фриков, скотских выроdkов, они остались дежурить из-за вас, вонючих выроdkов природы (как-то так выразилась она, и мне это показалось очень понятным выражением — полагаю, и Нбози тоже); завали пасть, выроdk, ты никто, ты животное, ты пасть разеваешь, да? ты теперь умеешь пасть разевать, да? языком ворочать? — а хрен, ты тварь, ты просто животное, кусок поганого мяса; таких, как Нбози, она еще десять дней назад жрала по три стейка в день, он просто тварь, животная тварь, вы просто твари, как были шесть дней назад, нечеловеки, в вас нет ничего человеческого, мы тут торчим из-за вас, выроdkи, нас бы давно забрали, нас бы давно вывезли, если бы не надо было охранять вас, поганое трепливое мясо, лучше бы вас поубивало всех, лучше бы он, Нбози, тоже сломал шею, как его баба, лучше бы их всех поубивало и нас бы давно забрали отсюда. Вдруг я что-то увидел в воздухе — нет, я увидел,

как словно бы изменилось движение воздуха, будто воздух между ней и Нбози начал закручиваться; я пополз к Адак от края воронки; автомат бил меня по затылку, я боялся, что если просто попытаюсь схватить и оттащить ее, она выбьет мне зубы прикладом, и я начал дергать ее за штанину, а она трясла ногой, как зацепившийся за корягу ребенок, и тогда я встал на колени и начал хватать ее за талию, а воздух рядом с нами закручивался все туже, и тогда я вцепился в Адак обеими руками, и встал на колени, и попытался все-таки сдвинуть ее с места, и тут двупалое копыто влетело мне в висок. Я увидел, как оно удаляется, — как в мультике, словно бы оставляя за собою воздушный след: два широченных пальца, растягивающихся до прозрачности. Так закончилась для меня эта война. Обойдемся без дешевого саспенса: шестью днями позже она закончится и для всех остальных. После нее останутся детки — маленькие и большие слова; война нарождает их кучей, как хорьчиха хорьчат; многоголовый слизкий помет, кто помельче, а кто потолще, кто совсем ледащий, а кого поди приберей еще. Будут в этом помете и слова про «постыдное, но героическое поражение», и слова про «почетное, но героическое поражение»; и «историческая неизбежность» будет в этом помете, и «Божья кара»; родятся и маленькие конспирологические ублюдочки — глухие, трехногие, наглые и визгливые олигофрены; выйдут с последом сутулые, подслеповатые, обреченные изнурять себя чтением, онанизмом и рефлексией сиамские сестры — вина и невинность, а в целом никто и помнить не будет, что среди всего выпавшего нам была еще и война, короткая маленькая война; она растворится в том, для чего появится на свет жирное, огромное, дряблкое, как желе, липкое, как звериные слюни, слово «асон»¹. Остатки моего глуда заберут отсюда — в неко-

¹ Катастрофа (*швр.*).

торую пятницу. Что же касается мирного населения на территории, которую мы удерживали в течение одиннадцати дней, — в живых останутся четырнадцать подлежащих каталогизации особей. Смысла в их перечислении я не вижу.

2. Дрожь

Чемодан пришлось снова сдвинуть к дивану, чтобы добраться до двери. Несколько секунд Даниэль Тамарчик тихо стоял перед дверью, надеясь, что посетители уйдут. Обычно все рано или поздно уходило — но дверь мелко задрожала еще раз, потом еще раз. Он открыл. Пара за дверью выглядела настолько достоверно, что казалась невероятной: черные костюмы, звонкие улыбки. Мужчина, правда, был непокорно кучеряв, зато волосы женщины были острижены и зализаны назад, как у серийного убийцы. На ее черном чулке круглая дырочка пускала ровные лучи вниз и вверх. Ноги у обоих были до самых колен покрыты пылью и мелкими осколками. Пыль стояла везде, Даниэлю Тамарчику, как только он открыл дверь, сам воздух показался серым. Было очень холодно. Эти двое заговорили, старательно шевеля губами, заученно открывая улыбочивые рты. Даниэль Тамарчик вытащил из заднего кармана истертый бумажный лист, развернул его перед визитерами и почти уже опустил голову, как делал в такой ситуации всегда, но вдруг занервничал. Перед ним был не какой-нибудь сосед-переселенец, пришедший узнать, в котором часу тут положено занимать очередь за консервами (возня с бумажкой, пунцовое смущение на оплывшем мелкоочечном лице, губастое «простите», как результат — еще большее смущение и, наконец,

удивительный в своем разнообразии набор жестов, которыми люди на памяти Даниэля Тамарчика пытались выразить чувство вины за попытку говорить с глухонемым). Разворачивая свою захватанную бумажку, Даниэль Тамарчик всегда старался смотреть в сторону или вниз и сам испытывал мучительный стыд — плохо объяснимый, но хорошо понятный стыд перед чужим стыдом. Но нынешних гостей одним стыдом не отвадить, Даниэль Тамарчик отлично это видел. Он поймал сломанный карандаш, болтающийся на прищипленной к двери веревочке, прижал бумажку к проседающей крышке чемодана и нацарапал пониже прежней надписи, прорвав бумагу в двух местах:

пожалуйста, уходите

Кучерявый с наглой улыбкой записного душки, которому все сходит с рук, попытался заглянуть в двери; Зализанная, хоть и припунцовившись, наклонилась и стала гладить воздух в двадцати сантиметрах от пола, вопросительно глядя на Даниэля Тамарчика. Даниэль Тамарчик не понял, потом понял и вдруг пришел в слепую, совершенно белую ярость, от которой кровью наливаются язык и губы, и несколько секунд стоял, просто слушая эти пульсирующие губы и этот пульсирующий язык, а потом захлопнул дверь. Он вдруг представил себе, как эти люди бредут по раскуроченному асфальту со своими брошюрами, своей Библией и своей Доброй Вестью сперва к оплывшему очкарику, потом к сухой женщине, которая упорно отказывается эвакуироваться из своей висящей на уровне второго этажа чудом уцелевшей кухни, потом к голодной молодой паре с приумолкшим в последние дни младенцем — и как через пятнадцать